

ГЛЕБ ГЛИНКА

# На Перевале



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

---

1954

# НА ПЕРЕВАЛЕ

Сборник произведений писателей группы «Перевал»:  
А. К. Воронского, Ник. Зарудина, Ивана Катаева и др.

---

РЕДАКЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНО-  
БИОГРАФИЧЕСКИЕ СТАТЬИ  
ГЛЕБА ГЛИНКИ



**ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА**

**Нью-Йорк**

**1954**

OVER THE CREST  
GLEB GLINKA, EDITOR

Copyright, 1954, by  
CHEKHOV PUBLISHING HOUSE  
OF THE EAST EUROPEAN FUND, INC.

Printed in the United States of America

## II. СЛЕТОВ.

Биографические сведения о Слетове не богаты и отрывочны. Сам он никогда не вспоминал свои детские годы. Родился Петр Владимирович в 1897 году. Окончил реальное училище, затем, во время войны, в 1916 году, был в юнкерском училище. В первые месяцы после революции Слетов занимал внушительный пост — был он комендантом одного из городов на юге России. В партии не состоял.

Во всей его крупной и стройной фигуре чувствовалась военная выправка. Гладкая прическа с косым пробором. Большие серые глаза. Характер замкнутый и холодный.

Ко времени вступления в «Перевал», в 1927 году, Петр Владимирович Слетов, и по возрасту, и по литературному стажу был старшим среди перевальских художников. И если Губер, Катаев, и Зарудин, как литераторы сформировались только в «Перевале», то Слетов пришел к ним уже писателем с некоторым именем, с установившейся манерой письма.

В бытность свою в «Перевале», Слетов написал роман «Заштатная республика», повесть «Мастерство» и несколько рассказов. За то же время, в серии «Жизнь замечательных людей», вышла его книга «Жизнь и творчество Михаила Ивановича Глинка».

В литературных произведениях Слетова был виден профессионализм, в них не было типичной для перевальцев искренности, но технически, по языку и композиции, они были значительно крепче, чем художественная проза Зарудина, Губера и Катаева. Считал он себя учеником Сергеева-Ценского и так же, как большинство перевальцев, ценил Ивана Алексеевича Бунина.

Повесть Слетова «Мастерство» создала ему высокий авторитет в Содружестве. Во всех организационных делах «Перевала» с 1929 по 32-ой год он принимал непосредственное участие.

В самый разгар своей перевальской деятельности Слетов разошелся с женой, но развод этот не был столь мирным как у Ивана Катаева, тем более, что к этому времени его дочери исполнилось уже 14 лет и семейный разлад она переживала не менее мучительно, чем ее мать. Через литературные организации Слетов получил для себя другую квартиру. Он с гордостью говорил, что отныне вся его жизнь принадлежит только искусству.

И уже собирался пышно отпраздновать свое «освобождение от семейных уз», но не прошло и одной недели, как в новую квартиру к нему окончательно переехала жена писателя Огнева. Праздник «Освобождения» пришлось отменить.

В «Перевале» Слетов ближе всего сошелся с Лезневым и Катаевым. Охотничьи подвиги Зарудина и Губера его не интересовали, но были у него свои увлечения. В юности он мечтал о карьере певца. В первые годы революции учился в какой-то музыкальной студии. У него был неплохой баритон. Его повесть о скрипичном мастере родилась не случайно, на досуге он не только играл на скрипке, но и организовал у себя на квартире маленькую мастерскую — делал скрипки. Дерево, как материал, он чувствовал и любил, знал некоторые тайны лакировки. В его повести есть глубокое понимание мастерства:

«...Слов нет, дорогое дерево повысит качество инструмента, но если рисунок его пышен, то нельзя отыгрываться только на нем. Знай, что природа наделяет наилучшим звуком дерево, возросшее на сухих горных песках, и лучшие части его — это тощие слои, обращенные к северу. Научись подражать природе. Роскошный рисунок разбивает форму, сбивает с толку глаз мастера и если мастер не сумеет удержаться в своем замысле, то он впадет в зависимость от своих материалов и, в лучшем случае, у него получится убудок. У дерева, даже мертвого, есть своя собственная жизнь. Умей не искалечить ее, а освободить и в то же время дать новую жизнь инструменту, вдохнув в него свою душу. Но при этом больше всего нужно думать и помнить о звуке. Ценна только та работа, у которой есть ясно поставленная цель — собственное продуманное, прочувствованное представление о звуке. Звук — главное. Иначе — материал и форма будут плясать пустую ненужную пляску».

И еще:

«Да, если хочешь, я скажу тебе, в чем тайна мастерства: работай над каждой вещью, над каждой мелочью с пылкостью любовника, с сердцем матери, которое каждого, самого хилого и недоношенного ребенка выводит и выкормит. С мудростью отца, который твердо ведет их к зрелости. Помни, что всё созданное тобой имеет над тобою же непобедимую власть; так дай же ее прекрасным вещам, они тебя переделают по-своему».

Все высказывания скрипичного мастера Луиджи об его искусстве даны Слетовым с предельной словесной яркостью. Быть может, они даже слишком нарядны и красивы. Большой художник о самом своем дорогом и главном скажет, пожалуй, проще и скромнее; свою исповедь он умышленно прикроет грубостью интонаций. Но Слетовскому Луиджи так же, как его ав-

тору, не свойственна подобная стыдливость, оба они говорят о своем искусстве черезчур пышно.

Абрам Захарович Лежнев, с присущим ему темпераментом, преувеличил значение этой повести. Он увлекся своим сопоставлением: «моцартианства Луиджи и сальеризма Марино». Он проглядел, что эти, казалось бы совершенно противоречивые образы — Луиджи и Марино — прекрасно уживались в самом Слетове.

Почти все пороки Марино, за исключением его тупости и кровожадности, Слетову легко было найти в самом себе, они были свойственны его характеру в неменьшей степени, чем жреческое высокомерие Луиджи, говорящего о своем искусстве.

В угоду властям предержавшим, Слетов сделал из мастера Луиджи активного безбожника, а его незадачливому ученику, негодяю и тупице, дал костюм солдата воинствующего католицизма. Этот дешевый трюк, который, несомненно, снижает художественную ценность повести, лишней раз доказывает, что психологический образ Марино не был чужд автору «Мастерства».

Как в произведениях своих, так же и в личной жизни, Слетов не умел и не хотел быть искренним. Он, с одинаковым успехом, мог, в широкой литературной общественности, играть роль беспартийного активиста, а внутри Содружества проявлять благородное негодование в защиту Воронского (с которым, кстати сказать, его не связывало никакое приятие).

ПЕТР СЛЕТОВ

## ЛИСТЬЯ

### Повесть

Это было в городе Санкт-Петербурге.

Это было на Забалканском, в бильярдной. Бильяарда было три: один похуже и два очень строгих. Сюда заходил хозяин, пан Рыбацкий, как в гости. Наведя порядки в смежном помещении, столовой-кофейне, пропустив главную массу обедающих, ущипнув два раза коленку подошедшей к кассе Ядвиги, любил он взять стакан мазаграна и, тихо посасывая соломинку, подняться на три ступеньки в бильярдную.

Войдя, раскланивался пан Рыбацкий со всеми наклонением головы и потупленным взором и перекидывался «парою слов» с посетителями, сохраняя свои обычные манеры графа в изгнании. Затем подходил к бильярду, где решал искусный маневр Дима Итяков, и всматривался минут пять в игру его партнера. Дождавшись первого неудачного удара по шару, едва не влезшему в угол, облакачивался пан Рыбацкий на борт. Эффектно постучав хризолитом толстого перстня по медному канту и тем стяжав общее внимание, оглядывал он победоносно всех по очереди и говорил Димочкиному партнеру:

— Да, вы сделали артистический удар. Это — удар дуэлянта шпагой в сердце. Но... (грустная улыбка) это вам не кошелка...

Тут с достоинством, промешав кусочки льда в студенистом кофе, отходил он и присоединялся к зрите-

лям, кольцом наблюдавшим поучительную Димочкину игру.

На окнах висели толстые ламбрикены, контрабазуры люстр и бра бросали свой рассеянный свет в воздух, пронизанный табачным дымом и остриями бильярдных киев, скользили беззвучно маркеры, собирая по лузам шары и по временам громко выкликали:

— Шестьдесят три! В двух больших партия...

Длилась классическая пирамидка, карамболь и бутефон...

В разные дни, разные часы меняла бильярдная свое лицо, как всякое место общественного значения. В ней меняла свое лицо большая холодная столица, кривляясь привычными гримасами. Но основной состав посетителей оставался все тем же: студенты, больше технологи, растворяли в своей среде небольшую группу знатоков и ценителей высокого класса бильярдной игры, сплоченную вокруг Димы Итякова, как и все фавориты, носившего уменьшительное имя.

Одним заменяла бильярдная успехи неудачной карьеры, другим — негостеприимную науку, третьим — отсутствующую или испорченную семью. Безмолвный ли уговор или святость своеобразных традиций, но личное не всплывало ни в разговорах, ни в поступках. Игра, ее содержание и логика создавали центр, вокруг которого лепились интересы, игра заслонила всё остальное, и лишь в ее плоскости ухитрялись решать вопросы искусства, философские и политические.

Так естественно стала бильярдная портиком греческого храма, где жрецами были Дима Итяков и маркер Федор, учителем же философии и теоретиком — журналист Поливанов.

Аудитория завсегдаев держала мазу за игроков, созерцала, сидя на полужестких диванчиках, и курила. А Поливанов поучал:



— О, юноши, о, мужи, у нас накурено, но дух ви-  
тает чистый, ибо мы одни. Вы видите, боги благо-  
склонны к нам: ни одна женщина не омрачает наших  
бесед под этими сводами. В многоопытной своей муд-  
рости уважаемый хозяин наш Казимир Казимирович  
не допускает даже к уборке бильярдной ни Ядвиги,  
ни кого-либо еще из дев и жен мало-мальски годных  
к ласкам и битвам Афродиты. Поистине, соблюдая  
свои интересы, заботится он и о наших, ибо не кос-  
нулось нас тлетворное женское дыхание. Что же ка-  
сается помойки, то злые языки говорят, что и она  
двухснасна...

Игроки ходили вокруг бильярдных с киями в ру-  
ках, в одних жилетах. Дима Итяков играл очередную  
партию со случайным посетителем, привлеченным за-  
мечательной его игрой, шумела отдаленно кофейня, за  
окнами ночевал Санкт-Петербург. И Поливанова слу-  
шали плохо, больше следя за Димой, за каждым его  
ударом...

Он горбат. Это заметно не всегда, чаще кажется,  
что он сутул. Он движется среди игроков, он ходит во-  
круг бильярда с той уверенностью, с тем достоинст-  
вом, с каким творят общественные обряды под направ-  
ленными десятками внимательных взглядов привыч-  
ные актеры разных культов. В лице его, в глазах спо-  
койное превосходство бесспорной силы, в каждом же-  
сте — та неуловимая и постоянная находчивость, ко-  
торая присуща мастеру и знатоку, а по временам да-  
лекая улыбка смущения. И когда от удара Димы в  
лузу падает немыслимый шар, а свой, на миг остано-  
вившись, отходит назад, молодой студентик в кружке  
зрителей возбужденно замечает:

— Это чорт знает что! Он от борта через весь  
бильярд играл его с выходом!

— Мой дорогой молодой коллега, — отвечает  
ему снисходительно пан Рыбацкий. — Диме сам Ле-  
вушка дает два очка, а если даст три, то Левушка про-

пал; пропал, говорю я вам, и уж были примеры. Это нужно понимать...

Все это дает повод Поливанову придаться к случаю.

— Поистине, — ораторствует он, — здесь, а не в механических лабораториях видите вы храм движения в чистом его виде, где Димочка — жрец и вместе пифия, являющая нам откровения в несравненном своем искусстве. Вы видите: шаров нет. Он ищет глазами и будет играть, очевидно, девяточку, имевшую неосторожность чуть откатиться от борта. Уверен ли он, что положит? Уверена ли пифия в том, что говорит?.. Но — внимание!.. Правильно, чудесно, шар вошел, что и требовалось доказать.

Легкие аплодисменты приветствуют Димочкин удар.

— Что произошло? Каждый из вас, дорогие коллеги, мог бы с точностью формулировать явление. Частный случай молекулярной бомбардировки. Данные: массы шаров, скорость битка, направление движения и коэффициент трения. Димочка, вы, вероятно, понятия об этом не имеете?.. Но попробуйте, о юноши, о мужи, повторить вычисленный Димочкин удар, — какой позор ожидает вас, какой стыд...

— Пятерку в угол, — заказывает Дима. — Удар посвящается вам, Кронид Семенович.

Поливанов слегка раскланивается и продолжает:

— Жизнь — это движение; без движения нет жизни. Старая, избитая мысль; но основных житейских истин не замечают именно потому, что они сказываются на каждом шагу. Димочкин удар, мысль его об ударе, звон влетевшего в лузу шара — все это формы одного и того же прекрасного движения. Не облакайте его в формулу — формула нужна для машины, но негодна в жизни; она не научит ходить, а лишь отяжелит походку... Верно я говорю, Федор?

— Совершенно справедливо, — отвечает маркер, устанавливая новую пирамидку.

С Димой играли многие без надежды на выигрыш, с уверенностью в проигрыше, из-за одной лишь чести сыграть с ним и проверить свои силы. Так в стены по существу демократической бильярдной на Забалканском залетали чужие птицы: гвардейцы, одетые в штатское, помещики, у себя в имении включившие в ежедневный режим пирамидку на собственном бильярде, московские заезжие купцы.

Встретившись, впрочем, со своими партнерами на стороне, в театре, на улице или в магазине, не мог часто Дима уловить узнающего взгляда; головы, если не отворачивались, то слегка приподымались, как бы завидев что-то достойное внимания вдали. Но здесь, войдя в бильярдную, снявши кители, сюртуки, смокинги, все сливались с общей массой игроков, подчиняясь общим законам. Все сходилось в одном: уступая, быть может, знаменитому московскому Левушке в выдержке и отыгрыше, Дима, несомненно, превосходил в красоте удара, смелости игры и артистичности его.

Расходились поздно. Часто, увлеченные затянувшейся борьбой, игроки не хотели расстаться с зеленым полем. Тогда завешивались плотно окна бильярдной, запирались двери, а в подъезде гасили огни и играли с риском штрафа до утра. Под утро говаривал присяжный болтун и полуночник Поливанов:

— Вот шары остановились в доигранной партии. Момент статический. Покой, скажете вы? О мужи, покоя нет, покой — это условность, он познается, как и все, из движения... Что такое ритм? Это сходство повторных движений. Что такое статика? Это ритм, заключенный в бесконечную форму... Федор, голубчик, дай пальто!

И все расходились через черный ход. Там ждали извозчики; Поливанов, застегивая потертый бобровый

воротник, одолжал у Димы полтинник и трясся на Фонтанку. Дима же — на Лиговку, задумчиво рассматривая бесконечный ряд ненужных на рассвете фонарей.

---

Он жил в большом коричневом доме с черными гербами и орнаментами из знамен, палашей и секир, сплетенных в спокойный и сумрачный знак. Там, в третьем этаже, в небольшой, тесно обставленной квартире нес он свою вторую маленькую жизнь, никем не наблюдаемую, а потому полную противоречивых потешных вкусов и слабостей.

Все дело в том, что затянулась молодость, быть может, даже детство. Диме было под тридцать, но выглядел он мальчиком. Будь он чиновником или приказчиком, над буднями его тяготела бы служба, но он был независим даже от круга знакомых, которых в личной, домашней жизни не мог найти. Так, не имея нужды в том, чтобы о нем кто-то думал хорошо, не угнетаемый своей двусмысленной профессией, он делал то, что ему нравится, заботясь болезненно лишь об одном: уйти от всяких советов, всяких вмешательств и посягательств на свою личную жизнь.

Предлогов же к этому было множество. В нем была жилка коллекционера, он тратил большие деньги на покупку какой-нибудь редчайшей марки давно исчезнувшего государства. Прекрасные пальцы его искали пути не только к зримым движениям, но и к радости звука — он занялся музыкой, остановившись на странном инструменте — балалайке. Впрочем, возвысившись над дилетантскими ступенями, владел он им прекрасно. В чтении резче всего проявился его вкус: он до сих пор читал Жюль Верна, Густава Эмара; любимейшей книгой его был Конан-Дойль, попутно, впрочем, история войн. Дима никогда ничего не писал, не имея нужды в этом, но он любил, чтобы у него на письменном столе было все, что нужно и что

совершенно не нужно. Письменный прибор его состоял из множества различных предметов: чернильницы с тремя сортами чернил, звонком для несуществующего лакея или небывалых заседаний, спичечницы, подсвечников, пресса, пепельницы, стакана для перьев, флакона с клеем, перочистки и еще каких-то совершенно неупотребляемых вещиц. В стакане был большой выбор ручек и карандашей всех цветов. В бюваре — запас почтовой бумаги и конвертов. Настольный календарь, настольные часы, барометр, термометр — все это настолько загромождало стол, что пользоваться им для работы было бы невозможно. Все это, впрочем, ревниво поддерживалось в постоянном порядке.

Остальное убранство комнаты соответствовало столу. На полу лежали коврики, — отдельно перед диваном с тумбочкой, где были туфли, и перед туалетным столиком. Деловитейший шведский шкаф с книгами, круглый полированный стол с альбомами марок стояли у одной стены. Напротив стену занимала карта всех частей света в виде полушарий и карта звездного неба — для чтения Фламариона. За ширмой над кроватью висели два скрещенных, как шашки, отделанных золотом и слоновой костью биллиардных кия. Под ними монтекристо, из которого стрелял Дима по утрам в мишени в дальнем углу комнаты. В шкафу хранился бинокль, микроскоп и кинематографический аппарат, развлекавший Диму в иные вечера.

Все это вызывало постоянное насмешливое осуждение со стороны матери, бодрой старушки, курившей по ночам за пасьянсами, вспоминавшей свое прошлое мелкой опереточной актрисы и увлекавшейся Ибаньесом Бласко. Саркастическим взглядом осматривала она слишком солидные костюмы Димы, его трости — был целый набор тростей, — и выразительно молчала. С тех пор, как существование зиждилось на его выигрышах, она перестала преследовать Диму

вечными замечаниями, но в душе, жалея, не считала его ни мужчиной, ни положительным человеком.

Дима и сам часто глухо чувствовал, что зрелость запоздала. Он следил за собой, стараясь прививать себе привычки, присущие уравновешенным зрелым людям. Его восхищало самоуверенное спокойствие тех, кто умел так веско, императивно, как сказал бы Поливанов, изложить свое мнение, кто умел с такой подавляющей естественностью играть заметную и пустую роль в жизни, как будто лучше ничего и придумать нельзя. Помимо того, что было наглухо закрыто от Димы китайской стеной общественных условий, мог бы он принять участие в той жизни, где доступ открывался рублем. Но, глядя на этих мужчин, с небрежной внимательностью провожавших своих содержанок под арками ресторанов, на спортсменов, открывших в спорте филиал порядочной жизни, на раздушенные благотворительные базары и даже демократическую толпу в воскресном Павловске, чувствовал Дима, что овладеть этим искусством, этой верой в естественное значение всего, что они делают, он был бы не в силах. С женщиной он не знал о чем говорить; стеклянным в своей наглости официантам не умел без робости дать на чай, шоферу бросить лениво и бархатно: — К Палкину! Насколько там, среди шелканья слоновой кости, в бильярдной был Дима прост и находчив, настолько же здесь натянута и скована. Ему приходилось думать и мучительно решаться на каждое незначительное слово или жест.

Однако, чувствуя себя часто пустым местом в кругу собеседников, лишним спутником в случайной компании, он хотел найти хоть ограниченный круг жизни, где был бы он спасен от необходимости придумывать выход из чувства неловкости перед неожиданными искусами. С этой целью он усваивал умышленно то, что казалось ему признаком самодовлеющего равновесия людей: привычку к комфорту, вообще всякие

мельчайшие привычки, упорядочивающие жизнь и дающие ей подобие самостоятельности. Он требовал, чтобы у него был собственный столовый прибор, стакан, ложечка, старался о том, чтобы его завтраки не совпадали с завтраками матери, отстаивая и в этом свою независимость.

Вставши часа в два, надевши серую пижаму, выпивши утренний кофе, садился Дима перед трельяжем и, разложив сложный несессер, брился внимательно, оглядывая себя печальным и ласковым взглядом. Лицо было желтое ровного цвета: ночная жизнь не приносила румянца, но, будучи привычной, не давала и болезненной бледности. Каштановые волосы расчесаны в пробор, голубые глаза под тонким желтым веком, казалось, видели и сквозь веко.

Побрившись, он разбирал почту. Он получал все центральные газеты, читая лишь дневник происшествий в «Русском слове», да фельетоны Дорошевича, остальное же тщательно подбирал в комплекты. Затем брался за балалайку. Играя с увлечением, он аранжировал знакомые мотивы, а там, где память изменяла, попросту фантазировал, будучи незнаком с нотами. Среди игры он старался уловить, к чему его тянет и, найдя, осознав свои желания, откладывал балалайку, чтобы перейти к занятиям, вытекавшим из его прямых склонностей: возился над устройством игрушки по рецептам «хитрой механики» или исследовал механизм музыкального ящика.

Часов в пять просыпалась мать. Превративши ночь в день, а день в ночь, она не знала солнечного света, проводя все вечера в чтении и воспоминаниях, ближайшим слушателем которых во время завтрака ее был Дима. Он выслушивал ее, поглядывая на часы, уходил завтракать в свою комнату и там читал или перечитывал, как всегда медленно, какой-нибудь из очередных романов Буссенара. Прочитанное принимал он горячо, оставаясь под впечатлением его весь день, чтению же

отдавал не больше часа, а затем, сменив пижаму на пиджак, уходил из дома.

По стрелам улиц, по сырým торцам, под рваными облаками ехал Дима, учась дышать среди каменно-угольных запахов столицы, в Гостиный Двор. Резко звенели трамваи, у Русско-Азиатского банка стояли глыбы автомобилей, памятники по-разному горячили холодных своих коней, и Екатерина улыбалась улыбкой самовлюбленной женщины над толпою своих любовников. А на углах гранитные городовые правили чинным уличным движением.

Купивши в магазинах, как всегда, что нужно и что не нужно, торопился Дима уйти и, отправив с рассыльным покупки домой, шел обедать, как правило, в «Квисисану». Здесь встречал его неизменный сосед, отставной земский начальник, балагур и враль Дом-Домацкий, уже хмельной привычным ресторанным хмелем.

Дима кончал обед, благодушно выслушивая анекдоты в духе кокоток ушедшего поколения, и пил с текущего счета своего в «Квисисане» Сен-Рафаэль. Затем, согласившись с Дом-Домацким, что смерти своей он дождется нигде как в Санкт-Петербурге, Дима расплачивался, застегивал глухой свой пиджак и отправлялся на Забалканский.

Было не мало в столице перворазрядных миллиардных, где мог бы Дима найти партнеров и оценку высокому своему дару. Но он был верен привычке. Поливанов же, ревнуя, говорил:

— Не место красит человека, а человек место. Вы не измените нам, о Дмитрий Алексеевич, это было бы цинично.

Впрочем, иногда, соскучившись, отправлялся Дима с Поливановым наугад в Гаваны или на Петербургскую сторону и забирался куда-нибудь в третьеразрядную пивную. Там, в задней комнате, загаженной с лета мухами, на просаленных, залитых керосином биллиар-



дах, кривыми расщепленными киями играли извозчики и городская шпана.

Бросив общий вызов: — Любому двадцать очков вперед! — Дима ставил крупный куш, и в случае проигрыша удваивал его. В этой игре выручала Диму смелость, а больше то, что он не знал цены рублю не только благодаря крупным выигрышам.

Под конец иному зарвавшемуся, понадеявшемуся на свои силы маркеру прощал Дима великодушно весь проигрыш. Но был безжалостен к жукам. Эту породу биллиардных игроков, видящих в игре не призвание, но профессию, и лучше всего изучивших ее коммерческую сторону, знал Дима хорошо и ненавидел ненавистью художника к невежде.

Жукам говаривал Поливанов в назидание:

— Вы наказаны за грех, страшнее которого нет в жизни, — грех насилия над свободным своим движением. *Procul este, profani!*

На что получал зловещий по вложенному желанию ответ.

После таких вечеров Дима всегда тосковал, словно жизнь его вдруг представала наблюдению другим своим краем.

— А знаете, — доверчиво замечал он, — как всё в общем паршиво. Я чувствую себя, как в карцере, как будто меня не пускают жить и держат у какого-то бессмысленного порога, заставляют все время сдавать какой-то ненужный экзамен. Подумайте, ведь это самое большее, что доступно мне, — придти и обыграть несчастного маркера, а у него полдюжины ребят.

Но Поливанов утешал:

— Полно, Димочка, спросите себя, — кто еще здесь, в столице, живет такой нужной и совершенной жизнью, как вы? Все роются, как кроты, кто высиживает геморрой, кто бессмысленно вертится вместе с колесом какой-нибудь машины, кто, осатанелый, следит за поплавком своего рубля, и лишь вы один в этом

гнусном городе живете праведно в законах движения, вы — тот праведный Лот, из-за которого пощажено это скопище потерявших корни людей. Полноте...

---

Это было в городе Петрограде.

Свергнув вниз бронзовых воинов с германского посольства и утопив их в Мойке, столица зашумела «Асторией». В витрине фотографий на углу Большой Морской были выставлены новые портреты царской семьи.

Люди обрастали защитным и черной кожей. Появились земгусары.

В бильярдную на Забалканском приходили теперь завсегдатаи ее, внезапно покрупнев и покруглев бритым лицом, уже сменив студенческую тужурку на военный китель, и Казимир Казимирович неизменно встречал их фразой:

— О, и вас уже забрали! Боже ж мой, что это делается... Но, желаю вам быть пулковником. И прошу взять до внимания, что для господ офицеров у меня особая скидка.

С фронта приезжали созревшие в страдании люди, оттуда легла красная тень. Героем дня стал раненый офицер. На лица пал отпечаток неугасимой жадности к жизни, как будто злоба войны заставляла больше ценить и больше любить курчавые дни ее.

Женщины стали доступнее и в жизни заметней.

Ставки крупней, игра азартней. Дима за полгода выиграл целое состояние.

При виде военных с их мужеством, подчеркнутым осанкой, формой и налетом грубой прямолинейности, Дима испытывал живой рост зависти и всегдашней отчужденной печали: жизнь, покрепчав, проходила мимо. Каждый раз Дима вспоминал болезненную улыбку, с которой показал свое хилое тело врачам у воинского

начальника, и это презрительное безмолвие, с которым его забраковали.

Поливанов же, укрывшись в санитарную форму, рассуждал:

— Конечно, война — изумительный пример движения, сведенного к единству. Но, увы, оно вычислено и взвешено на бирже в долларах и фунтах стерлингов. Желал бы я видеть, с каким кляпф-штосом влетит чей-то шар в угол, когда эти массы людей, вызванных к движению, поймут, что стоит лишь изменить направление и все полетит к чорту... Вы простите, поручик, это лишь частная беседа под сводами храма движения. В моих статьях я не имею возможности касаться этого.

Но поручик прощал. Поручик, одевши погоны, сам переставал чувствовать себя человеком и жадно хватался за все, что, казалось, возвращало его в привычное это звание.

Казимир Казимирович говорил:

— Бисмарк — это же голова! Вильгельм — это же д'ябэл! Один начал, другой кончил. У нас, знаете (голос понижался до шопота), в верхах не все благополучно: все фоны да бароны...

Казимир Казимирович верхним чутьем угадывал настроение своих клиентов.

В бильярдной все чаще вспыхивали политические споры. Однажды дело кончилось арестом, и лишь много времени спустя стали возвращаться участники его, уже с фронтов, уже полукалеками...

Только гвардейцы вносили с собою иной дух, иные речи.

Но Дима играл со всеми равно, не делая выбора. Однажды он с удовольствием обыгрывал целую ночь подпольщика, волей судеб отсиживавшегося в бильярдной, льстя ему, хваля отвратительный его удар. В другой раз хохотал над пьяной компанией из двух гвардейцев и юнкера Николаевского училища, вломившихся в бильярдную.

Гвардейцы, с трудом держась на ногах, упорно проигрывали смеющемуся Диме в бутефон; юнкер, оглушенный вином, сначала дремал на стуле, а после, шлепнувшись на пол, раскинув руки и ноги, захрапел густым, тембрстым басом...

Безуспешные свои попытки привести его в чувство закончил маркер Федор следующей фразой:

— Они в роде как дохлый шар, который висит над лузой — как его ни ткни, он сам падает.

Дни проходили все более ускоренным бегом. В столице меньше продуктов, больше калек, очереди за хлебом, вереницы раненых.

Подошло время «глупости или измены», распутинского кукиша, полиция обучалась стрельбе из пулеметов, «ком войны катился, явно уже управляемый лишь собственной своей тяжестью».

Дима стал больше гулять. Ему доставляло удовольствие чувствовать под ногами погрязневшие теперь соты торцов. Столичная улица, посеревшая и опустившаяся, таила в себе что-то необыкновенное, как будто сбрасывая с себя довольство и порядок, вынашивала она небывалые вещи, наполняясь предчувствиями и ожиданиями бунтарского материнства.

В студеной мгlistый день увидел однажды Дима, проходя по Измайловскому проспекту, солдат, занятых рассыпным строем. Они лежали на животах, щелкая затворами винтовок, в сапогах с недомерками-голеньями, в молескиновых шинелях летнего образца, в суконных защитных варежках. Один из них, улучив минуту, когда отошел офицер, закутанный в бекешу, отороченную серым каракулем, снял варежку, и синей, сочащейся кровью рукой вытер кровь с лица. Офицер, впрочем, тут же вернулся и вклеил ему еще два пинка бурковым сапогом. Дима, хрустнув пальцами в карманах ильковой шубы, подошел к хвосту первой попавшейся очереди к какому-то магазину и, по временам взглядывая на продолжавшееся учение, продви-

гался медленно вперед. Попад, наконец, в магазин, он понял, что очередь — за сахаром и купил себе положенные три фунта. Что делать с этой покупкой, он не знал.

С тех пор любопытнейшими глазами смотрел Дима на все, что творилось вокруг: на парады гвардейских и матросских частей, на посольские автомобили, на кучеров собственных выездов, носивших на кушаках над толстыми своими задами обращенные к седоку часы. С изумлением наблюдал он теперь женщин. К ним всегда относился Дима очень издали и очень ласково, как к детям, которых любят, но не умеют к ним подойти. За ласковостью его скрывалась пугливая робость, выливавшаяся в наружное отчуждение, удалявшее, вычеркивавшее из его жизни тех женщин, к которым мог бы он испытывать не одно лишь равнодушие. Теперь вдруг почувствовал он огромный интерес и уважение к ним, раскрашенным, крикливым и шумным.

В кафе Андреева на Невском однажды задумался Дима о той сцене взятия крепости Гермозилио тремя храбрецами, которую не дочитал он, прервавши чтение на самом интересном месте. Предприятие это безумно, но крепость будет взята, это Дима знал и переживал теперь предчувствие замечательного подвига, которому он будет трепетнейшим свидетелем. Роман Эмара лежал у него в кармане. Задумавшись, рассматривал он припудренную, взбитую, как сливки, толпу, оставив нетронутой лежавшую на столе сдачу. Через плечо его протянулась ручка, затянутая в дешевенькую лайку, и, проворно скомкав хрусткую трехрублевку, исчезла.

Оглянувшись, вспомнил Дима, что в крикливом этом и злобном месте нетронутая сдача считалась условным авансом; увидел девушку с чуть нежно и порочно измятым полным лицом под завитыми русыми воло-

сами и, потеряв нить своих мыслей, улыбнулся растерянно.

Девушка, порывшись в сумке, вытащила пудреницу и, обмахнувши пуховкой лицо, рассматривая себя в зеркальце, сказала:

— Я вчера осталась без кавалера и задолжала вон тому идолу, — кивнула в сторону официанта. — Можно сесть за ваш столик?

Кафе жужжало, горело электричество, несмотря на то, что был еще день. Кафе, спрятанное в длинных зеркальных подвалах, хотело жить только ночной жизнью.

Дима спросил пирожных, кофе и с удовольствием смотрел, как девушка с толком, со знанием дела выбирала миндальные и кремовые, хрустя свежими ровными зубами. Откинувшись затем, стала болтать о том, как кутила она на прошлой неделе с морским летчиком, о том, что с фронта мужчины приезжают, как бешеные, и что лучше всех все же кавалеристы. Закончила:

— Ну, что же, поедем ко мне?

Дима болезненно подумал, как рядом с нею, стройной и мягкой в осеннем пальто, резко выделится его горб, сразу сжался и покачал головой. Она внимательно посмотрела на него и спросила:

— Не нужно, — может быть, после?

Порывшись в сумке, она вынула карточку и дала Диме. На ней стояло: «Наташа Оглоблина» и адрес — где-то на Охтенской стороне. Дима спрятал карточку в карман, но этот жест ему сказал, что прячет он вместе с карточкой еще полгода или год, и, внезапно побледнев, он решил ехать тут же. И когда он расплатился, а она поняла, что он согласен, то улыбнулась очень просто и счастливо.

Эту улыбку наблюдал Дима всю дорогу, пока они ездил за коньяком, пока лихач мчал их на Охту.

Комната ее была невелика: половину занимала огромная кровать, покрытая алым атласным одеялом, на-

против стоял небольшой ковровый диван с парой та-ких же кресел и овальным столом. Сбоку — зеркальный шкаф.

— Это все мое, — сказала Наташа с легкой гордостью, — кроме шкафа, — шкаф хозяйки. Я уже год как ушла из дома.

Дима понял, что дом не был родительским.

Радиаторы излучали темное тепло. Пока Дима раскупоривал бутылки, Наташа обернула лампочку, спускающуюся с потолка, красной кисеей и заколола булавками плотные занавесы на окне.

Когда она села, Дима уловил ее взгляд, быстро оглянувший его горбатую спину и отвернувшийся, остановившийся на его прекрасных печальных глазах. Тут она улыбнулась снова своей нежной, порочной и простой улыбкой, а Дима с этой минуты почувствовал себя необыкновенно легко и уютно, сразу поверив, что она умеет простить все тягостное и ничего не хочет, кроме того, что есть.

Наташа, одним укусом закусив полъяблока, села к нему на колени и прижала его лицо к своей пахнущей пудрой через тонкое полушелковое платье груди. Но, заметив, что его детски мягкие руки, обнимая ее, спокойны, а он сдержан, не стала навязчивой и ушла снова на диван.

Здесь она, занявшись собою, стала пить, опять с толком, с видимым знанием вин и алкоголическим смакованием. Опускала в коньяк очищенные ломтики груши и маленьким языком и губами обсасывала их раньше, чем проглотить. Мало-помалу пьянея и раздеваясь медленными, величественными движениями, откинулась на спинку и из полной рюмки, ежась и щекотливо смеясь от холода, полила свой голый живот коньяком, — коньяк сбежал тонкими струйками вниз к ногам.

Дима пил мало, курил голландские слабые, пряные папиросы, голова его слегка кружилась от запаха разлитого спирта, он смотрел на Наташу и слушал ее

несвязную болтовню, ее подчас грубые воспоминания. Он решил, что вот об этих женщинах с любопытством и подавленной завистью думают другие недаром, — среди скандалов и насилия испытала не раз Наташа то, о чем лишь мечтают другие: звериную страсть, усложненные пороки, жуть и аромат преступления.

Наташа, побледнев от вина, что стало заметно даже при розовом свете, теперь уже совсем нагая, качаясь, разгуливала по комнате, вертясь перед зеркальным шкафом, касаясь грубоватым своим телом холодного зеркала и вздрагивая.

— Теперь, когда у меня своя квартира, я не люблю скандальных гостей, — говорила она, — я люблю таких, как ты, а если хочешь кутить, — едем в дом... Ты не скучаешь, миленький?

— Нет, — отвечал Дима, выжимая в рюмку лимон.

Вдруг Наташа, подойдя к столу, налила полный стакан коньяка и, залпом выпив, сказавши — На! — бросилась в кресло. Здесь она быстро сдала. Побледневшее ее лицо стало тоньше и потеряло бесстыдство, крашенные губы разрезали его тонкой счастливой чертой, а полузакрытые глаза, казалось, не смотрели, а слушали о каких-то невероятных желаниях.

Дима заботливо помог ей перейти на постель и, уклонившись от ее рук, оставил ее там в раскинутой позе, покрытую легкой испариной и уже совсем обессиленную. Сам же вернулся в кресло и, вытянув ноги, вынул из кармана и развернул роман Эмара на недочитанном месте.

Развязка близилась. Освободитель Соноры граф де Прэбуа Крансе, заключенный в цитадели, ожидал своего последнего часа. Меж тем, выручая, Валентин Гиллуа с Анджелой и другом своим Курумиллой отважно готовили побег... Сразу захваченный повествованием, Дима, волнуясь, вчитывался в строки. Несправедливость судьбы к великодушным заговорщикам так сильно угнетала его, что он готов был бросить



книгу, не дочитав. Но в нем жила еще надежда на удачу, хоть в то же время Дима знал, что Сонора не стала свободной. И когда граф де Прэбуа Крансе мужественно встретил смерть, — Дима больше не мог: он захлопнул книгу и застыл в глубоком переживании сочувствия и невыразимой печали. Личность Крансе всплывала перед ним во всем своем недоказанном, но таком вероятном величии. Любовь донны Анджелы, преданные друзья, измена гасиендеро, предатель испанец, крушение...

Дима вздохнул. Дымка вымысла и фантазии колыхалась вокруг него, заслоняя окружающее. В этом привычном мире мысли его были невесомы. Легко думалось обо всем. Было несомненно, что есть в жизни герои, что ими движут благородные и великодушные цели. И Дима переставал ощущать себя неодолевающим четырех классов гимназии горбатым недорослем, отверженным навсегда бильярдной, а становился незаписанным участником всех этих прекрасных походов в диких девственных странах, сообщником тайных их планов, судией жестокости, преступления и насилия...

Наташа шевельнулась, и Дима растерянно оглянулся. Все та же счастливая улыбка блуждала на ее лице. Это разрезало сразу его мысли, и они, как побеги, привитые к иному стволу, налились земными крепкими соками. В ее улыбке было такое веяние жизни и простоты, в Диминой душе столько мечтательного доверия к ней, что все это казалось вне действительности, каким-то краем присутствовал образ донны Анджелы, ушли вся робость и отчужденность бесследно. Когда же она протянула руку, незнакомая сила подхватила Диму. Покачнувшись, он встал, пошел к ней и прожил с ней безвыходно два дня, причем Наташа, просыпаясь, пила и целовалась с отражением своим в зеркале, а он курил и перечитывал начало и середину романа.

---

Третье утро пришло резко, как барабанный бой.

В квартире кругом шумели и хлопали дверьми. Наташа, похмельная и растрепанная, едва одетая, где-то в коридоре громко тараторила с хозяйкой. Дима думал, что нужно, наконец, домой, представлял себе ироническую улыбку матери и чувствовал, что стал теперь иначе ценить и жизнь, и себя, и военную злобу.

Вернулась Наташа другой, — оживленной и торопливой.

— Слышал? Там на Петербургской фараонов бьют. А они с чердаков отстреливаются... — бросала она скороговоркой, холодной водой умывая свое слегка отекавшее лицо и тело до пояса. — Пойдем, миленький... Ты пойдешь?..

Дима вздрогнул и быстро, как будто застеснявшись прихода неожиданного гостя, обвел глазами всю беспорядочную комнату, заspanную кровать, бутылки на столе, пепельницу, полную пепла и окурков. Он мгновенно оделся и, оглянувшись еще раз, заметил на столе раскрытую книгу Эмара, захлопнул и положил на окно, с удивлением поймав себя на мысли, что он еще вернется сюда.

На улицах было все по-новому. Дали не прятались за скукой расстояния, и широкие петербургские перспективы раскрывались с непонятной откровенностью. Стал виден воздух, обострился смысл существования каждого дома, каждого камня. Дима бежал с Наташей под руку, охваченный неясным огромным ожиданием и сочувствием к тому, что смутно угадывалось в уличной тишине, разрываемой любопытными и возбужденными прокриками бегущих людей. Что-то большое и незримое металось по улицам. Дима искал в каждом встречном ответа, смотря в лицо, в глаза, и бежал все дальше...

Вот по торцам загремела влекомая, как добыча, железная вывеска полицейского участка. Туда, откуда,

подшвыривая ногами, бесцельно влекли ее, бросился Дима...

Перед домом стояла небольшая толпа. Окна участка были разбиты. Вороха бумаг и растрепанных дел летели из окон второго этажа. И в первый раз увидел Дима алый флаг, не колеблемый в руках нестройной толпы, но твердо, неподвижно укрепленный на камне хмурого здания.

---

Только через неделю попал Дима опять в бильярдную. Его встретили, как воскресшего. Дима, отдохнув от кия, играл вдохновенно и пылко, развернув весь блеск и совершенство своего удара.

Поливанов после двух сухих кричал петушком:

— Нет, вы подумайте: он был полубогом, а вернулся богом. Почему вы играете триплет, когда у вас на ударе прямой?

Но Димочкин триплет ложился на сукно безупречно, как упавший чертеж.

— Вы помните, конечно, о юноши, — потирал Поливанов свою плешь, — как рады были математики, что пчелы в постройке своих сотов приблизились к математическому решению этого вопроса с точностью в углах до двух минут градуса. И как пришлось затем Реомюру и Кенигу убедиться, что поправку в две минуты следует вносить не пчелам в постройку сотов, но математикам в логарифмические таблицы. Не рискнет ли кто-нибудь научить Димочку, как сыграть заказанный им круазе в угол? Желających нет?.. Ну-с, тогда вернемся к текущему политическому моменту, сиречь, к вопросу о падении самодержавия. Ваше слово, товарищ маркер!

— Да что ж... Они в роде, как дохлый шар, который висит над лузой. Как ни пхни его — сам падает.

У Федора, как и у большинства присутствовавших, был приколот к борту пиджака красный бант.

Публика шумела, повторяли слухи о новых политических событиях и рассказы о пережитом в разных частях города. Дима слушал, играя, и ему хотелось быть всюду. Теперь по утрам бегал он с молчаливой жадностью, прислушиваясь к разговорам солдатских групп, ходил по залам Таврического дворца то с Поливановым, то под руку с Наташей. В разговорах он не участвовал, но слушал с удовольствием. Только раз, когда разнесся слух о разгроме университета, обмолвился:

— Это хорошо.

На что Поливанов ответил:

— Ого! Вы становитесь сознательнее.

Дима ласково улыбнулся, не возражая.

Бродя по улицам, слушая споры митинговых ораторов и комментарии Поливанова, доказывавшего, что речи — это пустое дело, что важнее всего теперь молчаливая работа, Дима чувствовал, что заведен в тупик. Ему и самому казалось часто, что что-то подкапывает под ноги, какая-то волна разливается повсюду, но митинги все стоят уже по пояс в воде с неподвижной тупостью и все хотят выдержать неодолимый, но ясный напор.

А жадные серые волны шли с фронта и, встречаясь с заводскими, всплескивали вверх, выбрасывая на трибуны и балконы людей с нелепыми выкриками, с нелепыми глазами.

Дима всё реже бывал в бильярдной. Он бродил то у особняка Кшесинской, то у дома герцога Лейхтенбергского, бродил без мыслей в голове, наслаждаясь видом высокого зеленоватого весеннего неба, отблесками закатов на зданиях дворцов, ночными кострами на улицах, грузовиками, мчавшимися под стальным ежом ошетиенных штыков, и этой особенной широтой петроградских перспектив. Улицы гремели эхом многотысячных толп; Нева из-под мостов плавила свои вскипающие воды навстречу Кронштадту...

Порою Дима переставал понимать, как это случилось, как могла строгая и размеренная жизнь так невероятно раскачаться. В нем еще жило чувство, что в жизни нет и не может быть ничего сверхъестественного, а если и появится что-то чудесное, то стоит вспомнить, что спишь, как сейчас же приходит пробуждение, и вместе с ним постылая скука, единственно достоверная в жизни. И Дима не знал, нужно ли протирать неверящие глаза, или поверить однажды накрепко и зажить так, как если бы случилось, что мир навсегда околдован сном, полным кривой новизны.

Всё же в шумящих толпах Дима чувствовал себя одиноким. Порою он ловил себя на том, что, встретив распеваящую на ходу толпу, отороченную каймой приплясывающих и весело орущих ребят, начинал и он подтанцовывать, и, лишь заметив это и вспомнив, как всегда в смущении, о своем горбе, спохватывался Дима и, отравленный, уходил. Легче бывало ему с Наташей. Она, азартная и прямая, всегда с жаром отстаивала тот или иной список, всякий день, впрочем, меняя свои симпатии. Над ней посмеивались окружающие, посмеивался ласково и Дима, но она не теряла задора. А однажды сказала по поводу встретившейся демонстрации:

— Ты знаешь стишки Пуришкевича:

Не видать земли ни пяди,  
 Всё смешалось: шпики, б...,  
 С красным знаменем вперед  
 Оголтелый прет народ.

— Тебе не неловко? — усмехнулся Дима.

— Ничуть! Я — жрица свободной любви... Это о вас, о мужчинах... Все вы сволочи!..

И, вырвавши руку, Наташа, разгневанная, подбежала к остановившемуся грузовику, вскочила в раскачивающуюся груды солдат и уехала с ними. С этого дня не видел ее Дима две недели, тосковал. Наташа с кем-

то крутила, а вернувшись, наконец, домой, встретила Диму как ни в чем не бывало, с той снисходительностью, с которой всегда к нему относилась. Но Дима что-то понял и в ближайший же день привез ей столового белья и чайный сервиз. Этим ссора была исчерпана. Дима каждый вечер теперь пил чай у Наташи, а она затеяла принимать всех своих подруг, хозяйничая не без умения, не допуская, чтобы пили лишнее, и сторонясь мужчин.

По утрам попрежнему гуляли. Но, наконец, это Диме наскучило, — к тому же Наташа сорвалась и впа-ла в запой, — Дима опять зачастил в бильярдную.

Там, между тем, еще раз изменился состав игроков. Казимир Казимирович, идя навстречу возросшему спросу, расширил помещение, добавил еще два бильярда, и теперь сюда стекалась странная публика. Какой-то армянин с адъютантскими аксельбантами, бессмысленно и крупно играл, избегая сталкиваться с Димой, ему всегда сопутствовал старик, называвший себя отцом, — Дима, впрочем, был уверен, что родство их ограничивалось братским дележом выигрыша, не столько бильярдного, сколько карточного, за железкой, в номере гостиницы, среди партнеров, вербуемых в бильярдной. Вербовать было легко: в столицу хлынула толпа помещиков, отставных крупных чиновников и прочей шушеры, не привыкшей, чтоб деньги, хотя и последние, залеживались долго в карманах. Их жажду проигрыша обслуживал адъютант с папашей и два-три жучка помельче.

Зайдя однажды, скользя рассеянным взглядом по незнакомым лицам, Дима вдруг увидел кудрявого богатыря в расстегнутой синего сукна легкой поддевке, двигавшегося навстречу с протянутыми руками.

— Ага, вот и ты, а мне говорили, что ты сгинул, говорили, что ты комиссаром стал... Сыграем, что ли?

И Грохотов здоровался долго своей твердой рукой подрядчика, нажившегося на военных поставках.

Курчавый черными с проседью кудрями, загорелый нестоличным загаром, хранил он в лице что-то быстрое, цыганское, и теперь, отвернувшись, смотрел на столы с подавленной энергией.

— Ну, товарищи, ну, сукины дети, что понаделали, — шептал он, как будто в забытьи, как будто отвечая Диме на какой-то его вопрос. Кий выбрал быстро, одним взглядом оценив прямизну его, а подбросив и поймав, — вес; натирал мелом, ломая, разбрызгивая по полу осколки, и было ясно, что хоть обижен Грохотов смертельно, но имел силы уйти в себя и теперь грозит оттуда, из глубины души, расправиться, когда придет время, по-свойски и подзажать в свой волосатый кулак казнокрада всё, что можно будет и что нельзя. Резким взмахом замахнулся он, но ударил осторожно и мягко, слегка лишь разбив пирамидку.

— Играй, Дима, игрушку, бей меня, плута, проиграл я тебе петеньку!

Дима начал нехотя. Его беспокоило что-то; казалось, что беспокоил старик, игравший за соседним биллиардом, жилистый и медлительный, почти после каждого удара отходивший в угол прокашляться и плюнуть. С глухим раздражением смотрел Дима, как он целился долго, мешая пройти — биллиарды стояли теперь тесновато, — брезгливо рассматривал нечистую одежду старика и желтые тупые ногти его.

Грохотов играл с прибаутками, но прижимисто. Дима, скучая отыгрывался и стал больше следить за соседним столом, чем за своим.

На небритом лице старика неподвижно стояли глаза, мертвые для всего, кроме расчета; тихими накатами, бессильными, но методичными, обыгрывал он своего молчаливого партнера. Скоро заметил Дима, что не он один заинтересовался стариком: сидя в углу на диванчике, с него не спускал глаз коренастый, лет тридцати пяти блондин в кожаной, с огромным красным бантом, куртке.

«Должно быть, держит мазу, — подумал Дима. — Но за кого?».

Старик тщательно целился, чтобы положить в среднюю.

— Не влез!.. Подставил я тебе!.. — горестно воскликнул здесь Грохотов. — Ну, товарищи, ну, паршивцы-сопляки...

Но Дима вдруг увидел, что сидевший на диванчике блондин встал и, крадучись, подходит сзади к старику. Дима не успел подумать, что это значит, как все объяснилось: блондин, изогнувшись, наотмашь ударил старика в ухо...

Старик упал на бильярд, схватившись за ухо рукой. Из-под пальцев быстро показалась кровь.

Все остановилось. Сквозь неясный ропот кто-то громко сказал:

— Вот это так ахнул!..

Потом все заговорили. Старик все еще лежал на бильярде, блондин все еще стоял на своем месте и, покрывая шум, спросил ясным голосом:

— Ты знаешь, Сеня, за что?

— Знаю, Андрей Терентьевич, — тихо ответил старик, не меняя позы.

Тем временем все уже столпились вокруг плотным кольцом. Толстяк с глазами на выкате и красной щекой кричал:

— Ты что же думаешь, на тебя милиции нет? Думаешь — революция, так можно людей в общественном месте калечить? А еще бант нацепил, бандит зув!..

Блондин стоял неподвижно и спокойно, но тут все заметили торчащий из-под кожаной его куртки кончик замшевого револьверного кобура. Кружок несколько раздвинулся. Блондин же презрительно сказал:

— Вы на меня не кричите, я не собака... Лучше спросите, в чем дело. Сеня, скажи им, замотал ты у меня пятьдесят целковых золотом или нет?



Старик молчал.

Что толкнуло здесь Диму — он и сам не мог понять. Хрустнув пальцами, как тогда, на Измайловском, вытащив из жилетного кармана уже очень редкие в те времена пять золотых, зажав их в кулак, одним движением прорвал он кружок. На миг остановился он перед блондином трепещущий, тщедушный в своем порыве и, сразу разжав кулак, вlepил вместе с сухим ударом монеты в его щеку. Золотые рассыпались, слабо звеня... Краем глаза заметил Дима, как торопливо забегали руки блондина по карманам. Не ожидая, не раздумывая, он перехватил кий, и тяжелой, налитой свинцом рукояткой дважды ударил его по голове. Дальше уже нельзя было двигаться: навалились окружающие, кто вмешался в борьбу, кто бросился поднимать золотые, — их разделили, — блондина куда-то поволокли и уже суетился встревоженный Казимир Казимирович:

— Ради Бога, ради Бога, без скандалу, без огласки быдла какие-то...

Дима стоял дрожа, с остановившимися глазами, со взмокшим лбом...

В билиардной шумели, оценивая случившееся, старик, обмыв ухо, пришел и с тем же мертвенным видом, так же методически продолжал обыгрывать своего партнера. Грохотов удивился:

— Вот ты какой хахарь! Ну, и Дима... Только понапрасну, — он тебя где-нибудь встретит, товарищек этот. Ты думаешь, у меня руки не чешутся? Но не время сейчас, не время, говорю, играть, дай Бог отыграться... И золотые — ты знаешь, какой курс теперь?..

Старик уже кончил партию, выиграв в последнем, и принялся за новую, а Дима все еще не мог успокоиться. Наотрез отказался он продолжать игру, и, когда расплачивался, Грохотов сказал:

— Горяч ты очень. По справедливости, ты мне не проиграл, зря отдаешь...

Тем не менее спрятал пятисотку в бумажник.

А Дима, едва сдерживаясь, накинул пальто и выбежал на улицу. Здесь только, севши в извозчичью пролетку, уткнувшись в угол, зарыдал он тихо и безутешно, как если бы, приложив руку к человеку, лишился он какой-то нужной в жизни чистоты.

---

С тех пор только раз поборол Дима свое родившееся отвращение к бильярду. Это было после того, как целый день накануне он провел на улицах с Поливановым, натываясь всюду на разведенные мосты. Группы солдат были как-то замкнуты, недоверчивы, публика немногословна. Видно было, что никто в точности не знал, что делается, все раздражены и хранят про себя догадки и отношение к совершающемуся.

— Давайте плюнем, — сказал Поливанов. — Это не для вас и не для меня. Россия стремится неуклонно к своему Наполеону. Ну и черт с ней, иначе вас сделают конторщиком. А наше дело, вам — играть на бильярде, а мне — быть толкователем вашего искусства. Мы забыли об этом и лезем на улицу. Ну, вот и дождалась, что улица повернула нам спину. Надо вернуться в материнское ложе искусства, воспитавшего вас. Приходите-ка завтра на Забалканский, да тряхнем стариной.

Так и случилось, что встретились они у бильярда еще при дневном свете.

Со странным чувством взял Дима в руки кий. Тяжесть рукоятки еще живо напоминала о том употреблении, какое неожиданно получила она последний раз. За эти полтора-два месяца Дима несколько утратил технику. Правда, глаз видел очень зорко, рука сжимала кий и двигалась очень твердо, но было ощущение какой-то излишне затрачиваемой силы, несвободы, как будто приходилось бороться с чем-то вязким, выросшим за это время. Однако, бывшее увлечение захва-

тывало Диму. Он играл напряженно, выравнивая удар, партию за партией.

— Вот видите, — говорил Поливанов, — вам вредно забывать бильярд. Но с другой стороны полезно. Вы как-то созрели за это время. Вся моя чуткость к оттенкам вашей игры подсказывает мне, что вы оставили сегодня ваш мальчишеский задор... Не Наташа ли действует так на вас? Ваша мечтательная пылкость нынче похожа скорее на зрелое бесстрашие аргонанта... Хотите я подскажу? Играйте семерку с выходом под десятого...

И Дима, играя по назначению Поливанова с прилежностью и старанием, вдруг почувствовал желание сыграть какую-то небывалую партию.

Казимир Казимирович, войдя, сообщал всем секрет полишинеля:

— Вы знаете, к Зимнему дворцу подошли броневики... Полно переодетых немцев!..

Кий затрепетал в руках Димы, как струна. Звонко перебежало по столу упругое щелканье шаров.

— Знаете ли, Димочка, что такое причинность? — проговорил Поливанов. — Это — инерция движения. Если движение выражено прямой, математическим рядом точек... Дуплет в середину!.. рядом точек, то положение точки *b* вытекает из положения точки *a*... Может ли *b* не прийти?.. Туда же тройку!.. Может, — тут Поливанов лукаво улыбнулся, — если мы помешаем. И это будет покой. Покой — отсутствие и отрицание причинности. Не правда ли?

Публика расходилась, бильярдная пустела. Казимир Казимирович ходил тревожный, предупредил:

— Я закрыл вход, кто знает, что може быть. Вы будете играть?.. Пожалуйста, пожалуйста, свои гости... Это просто мои меры, каждый должен быть на своем посту.

Игра продолжалась в пустой бильярдной.

Лишние лампы были погашены. Поливанов, до-

став из пальто бутылку водки, пил среди игры в углу, в полутьме, закусывая бутербродами, а Дима, забыв о нем, играл как будто сам с собой, удар за ударом завоевывая гибкость, подавленную было косностью, возвращая былое мастерство.

— Я вас поймал, — сказал Поливанов, ероша редкие на плешине волосы, глубокомысленно глядя на стол. — Давно вы не уделяли мне своего внимания. Конечно, что значит для вас, смелого аргонавта, старый и хилый любитель мудрости и неуловимых, текучих во времени форм движения... Скажите, Дима, как ваша матушка?

— Я схоронил ее на той неделе, — ответил Дима. Голос его взвизгнул в полутьме, и только лишь поэтому пожалев, что спросил, Поливанов наклонился над озаренным сукном, тихо отведя биток к борту.

Дима же, нагнувшись, взмахнул бровью и взглядом измерил положение шаров — точнее взгляда нет ничего в мире, — измерив, ударил с назначением:

— Восьмерку в угол.

Рванулась восьмерка молниеносно, сгорели под нею два аршина зеленого сукна, со звоном врезавшись в лузу, пропал шар и, пролетев пространства, грохоча, взорвался в Зимнем дворце.

— Стоило отыгрываться, — пробормотал Поливанов. — О, смелый аргонавт!

Теперь уже ясно почувствовал Дима, что пришел какой-то перелом: удар вернулся к нему. Дима слегка устал, но голова горела, теплые руки чувствовали малейшую неточность, он, почти не целясь, взял партию с одного кия. В окна глухо и упруго ударились пушечные выстрелы — выстрелы с «Авроры», — окна ответили тихим звоном.

Маркер Федор едва успевал ставить пирамидку. Заметив гибельное оживление, охватившее Диму, он сказал с оттенком профессионального уважения:

— Вы, Дмитрий Алексеевич, как дочь пропиваете...

В самом деле, казалось, что это последняя игра. Поливанов только удивленно покачивал головой. Дима, кончая вторую партию опять с одного кия, остановился перед прямым ударом по висевшему над лузой шару. Ему хотелось одним взмахом раздробить вдребезги кий, вогнать шар так, чтобы либо он раскололся, либо отскочила медная обшивка лузы, и тем закончить партию. Он размахнулся и ударил изо всей силы... Шар сгинул, но кий не сломался, а лишь треснул во всю длину, пробковая наклейка отскочила, и первый раз в своей жизни Дима разорвал сукно на бильярде большим прямоугольным клоком, обнажив черный аспид доски.

---

Два дня Дима пробыл в состоянии тоскливого беспокойства, пугливого недоумения перед совершающимся, доходившим до него эхом перестрелок и уродливым преломлением квартирных слухов. По ночам не спалось, он гасил огонь и смотрел в окна, закутавшись в тяжелый оконный занавес. Глубокая осень стыла над черными улицами, Дима вспоминал, как шел он один за гробом матери, как с той поры не оставляет его всеобъемлющее чувство одиночества.

Наконец он не выдержал: в восемь утра уже оделся и побрел по туманной сумеречной Лиговке к Наташе. Еще горели фонари. Дома, как корабли на якорах, недвижно сырели по сторонам. Около Знаменской площади перед подъездом гостиницы стоял одинокий извозчик. Первый человек, которого увидел Дима, был Грохотов, укладывающий чемоданы в пролетку. Дима несказанно обрадовался ему:

— Куда?

— В Москву, милый, в Москву, — ответил Грохотов весело, — она им, матушка, покажет...

— Кому?

— Жидам.

Дима повел удивленно глазами.

— Ну, да. Ты не знаешь, чем кончилось? На, читай...

И Грохотов вынул торжественно из кармана листовку Временного Совета Российской республики с призывом о сплочении вокруг комитетов спасения родины и революции.

— Понял?

Дима понял и взволновался глухим томительным волнением. Сразу встала давно падаваемая мысль — что делать?

— Хочешь, едем со мной, — предложил Грохотов. — Вместе веселее.

Дима раздумывал, а он, схватив его за рукава, шептал горячим шопотом, поглядывая по сторонам:

— Правительство арестовали, блатных из тюрем выпустили. Банки прикроют, на-днях прикроют. Все, что потом-кровью добыто, — народное, говорят, достояние... Ах, черти полосатые!.. Ты деньги где держал? В банке, небось? Молодо — зелено... Ну, как же, едем? А то, того гляди, поезда станут.

— Я не один, — сказал Дима нерешительно.

— Чудак, ты что же думаешь, мы навеки, что ли? Через неделю с хоругвями, с иконами, с колокольным звоном вернемся... Кто у тебя, жена?

— Допустим.

— Женщина? Так бери с собой. Чем больше — тем лучше, веселее. Ты здесь живешь недалеко?

— Она на Охте.

— Далеконько... Ну, ладно, садись, доедем...

И, зайдя ненадолго к себе, заперев квартиру, Дима уже ехал на Охту. Грохотов хозяйственно оглядывал улицы, без умолку говорил, желая казаться веселым, заразить своим весельем. Он напоминал цыгана, дирижирующего хором, с печальным видом выкри-

кивающего зажигательное: эх, ходи, молодая!... Какие-то документы из Военно-промышленного Комитета помогли им сойти за снабженцев, возвращающихся на фронт, и избежать подозрительности патрулей.

Наташу, конечно, пришлось подымать с постели. Она не удивилась.

— В Москву? Ну, что же, только ненадолго, у меня здесь мебель... Платья тоже не возьму.

Она зевнула и стала одеваться, не стесняясь присутствием Грохотова, разглядывающего ее мимоходом, но с любопытством.

Назад ехали на том же извозчике, Наташа на коленях у Грохотова. Улицы все еще были пустынные, но на Николаевском вокзале было суматошно и тесно. Крупная взятка открыла им путь на перрон. Поезда, отходившие в Москву, были переполнены. Билетов нельзя было получить, да, повидимому, огромное большинство пассажиров ехало по документам. Тут же составлялись воинские эшелоны, подавляющее количество суетившихся и оравших людей были солдаты и рабочие-красногвардейцы.

Была единственная возможность уехать — это попасть в международный вагон. Но он свирепо охранялся проводником.

Тут выручил опять Грохотов. Необыкновенная легкость, с которой он умел дать взятку, соединялась в нем с правильно взятым тоном, напористым и шутивным. Проводник уступил свое купе, и они уселись втроем в узком пространстве, стесненные обилием каких-то корзин и чемоданов.

Поезд тронулся. Грохотов, немедленно вытаскивая из чемодана водку, угощал проводника и Наташу. Выпил и Дима, думая все о том же: что Грохотов из кожи лезет, чтобы подогреть настроение, неуверенное и пустое внутри.

Было жарко. Наташа, захмелев, визжала; Дима, не захмелев, чувствовал головную боль; Грохотов, уста-

лый, молчал, но и сквозь молчание проглядывала в нем та же неугасимая обида, та же незаживающая надломленная энергия.

Коридор вагона был набит пассажирами. На станции не выходили, лишь из окна наблюдая мелкое оживление, тревожную деловитость, вызванную приходом поезда из забурлившей столицы.

Когда настал вечер, — зажгли свечу и стало ясно, как тесно и неудобно будет спать, Наташа стала зла, ругалась — зачем и для чего в Москву, на чорта уехали, лучше бы сидеть в Питере и не рыпаться. Грохотов затеял с ней жаркий спор, а Дима, крепясь, подумал в первый раз отчетливо: в самом деле, что делать в Москве? Но поезд несся все дальше, купе же было островком света и тепла среди пустынной жути проезжаемых зимних полей, спор укачивался мало-помалу, и Наташа, склонив голову на плечо Димы и уснув, привоздила его к дивану.

Ночью, разбудив всех, вошел смешанный контроль, проверявший документы и билеты.

— Кто такие? — не доверяя грохотовским удостоверениям, спрашивал в матросском бушлате увешанный гранатами минер.

Грохотов пространно объяснял, Наташа, проснувшись, зло прервала:

— Вы что ж, мужчина, не видите? Спекулянт, проститутка и биллиардный игрок... Из Питера в Москву от революции дерут... Дальше что?

Повидимому, этот ответ удовлетворил минера больше, чем грохотовская запутанная речь. Вернув документы, мельком взглянув на багаж, захлопнул он двери, и до утра их никто не тревожил.

Солнечный день глянул в окно, как будто хотел сказать: ну, милые, как живете? Под солнцем зашевелились вяло пассажиры в купе, как дождевые черви на горячем сухом песке перед тем, как попасть начинкой на рыболовный крючок. Наташа начала с пудры.



Эта будничная забота ее наложила отпечаток скуки на весь день. Только часам к пяти, подъезжая к Клину, заволновались.

— Ну вот, скоро и Белокаменная, — приговаривал Грохотов, увязывая чемоданы.

Сердце Димы дрогнуло. Там, где останавится поезд, ждет его то, что было так невозможно в Петрограде, то, что было так пропущено — осуществление каких-то надежд... Куда-то придет он и скажет: дайте мне оружие. Его ни о чем не спросят, не удивятся, дадут тяжелую и жирную от смазки винтовку, дадут тяжелый подсумок, и он, легко вздохнув, победив и забыв свою робость, сольется, наконец, с неповторяемыми днями, с массой этих людей, по-своему правящих путями жизни... Вот что делать.

Поезд подошел к Николаевскому вокзалу. Сдавши лишние вещи на хранение, с легким ручным багажом они вышли на темную площадь, изрезанную окопами. Грохотов только тихонько засвистал, поглядывая на красногвардейские патрули у костров.

Публика шла обходом, переулками. Подчиняясь общему молчаливому потоку, двигались и они.

— Началось и здесь, — угрюмо заметил Грохотов. — Надо на Тверскую, обязательно на Тверскую, там у меня в «Дрездене» свой человек, от него узнаем, как и что.

На Тверскую, однако, попасть не удалось. Пришлось бесконечно колесить, натываясь на заставы, обходя проволоку и окопы. Наташа отказывалась идти, надо было подумать о ночлеге.

Гостиницы были переполнены. Лишь с трудом разыскали они где-то в меблированных комнатах холодный нетопленный номер. Улеглись сразу, укрывшись шубами, а когда утром проснулись, во дворе ржал пулемет...

— Ну, скорей, Дима, скорей, — торопил Грохотов, умываясь и фыркая, — время не ждет... Волка ноги кормят!

Холодная вода придала Диме свежую бодрость. Этим утром, этим днем хотелось начать твердый ряд дней. Еще вчерашний вечер покончил с остатком неуверенности, впереди было все ясно, Дима уже чувствовал себя с краю вертящейся воронки водоворота; движение, пока еще медленное, захватило его, но скоро всосет его в середину, и Дима отдавался ему с радостным чувством. Жизнь как наново пришла и была дана без всяких условий.

Уходя, Грохотов на минутку остановился в нерешительности, не оставить ли за собой номер.

— Мы не вернемся больше, — сказал Дима, сжигая за собой корабли.

Им удалось быстро выйти из района перестрелки, и они очутились в спокойных сравнительно местах Цветного бульвара.

В тени было морозно, но с крыши капало. Дима улыбался навстречу солнцу и вел Наташу под руку, нежно поддерживая, жалея, что она с ним, что вытаскил ее из Петрограда в сумятице отъезда. Но она, видимо, была довольна, чувствуя себя гостьей в принаряженном под солнцем городе. Дима же твердо хотел быть хозяином.

По дороге наткнулись на сцену разоружения офицера. Он стоял, прижавшись спиной к стене, с поднятыми руками. Это было уже у Дмитровки. Впереди все громче хлопала перестрелка.

— Дальше не ходите, — пугливо, нараспев предупредила какая-то старушка, — пули летают...

Страстная, однако, была полна народу. Военных не замечалось, перестрелка звучала где-то в стороне, и публика расползалась, как тесто, вылезшее из квашни, по Тверской в сторону пустынной Скобелевской

площади, где виднелась цепочка людей возле поблескивающего на солнце орудия.

— Пойдем, может, проберемся, — сказал Грохотов, воровски оглянувшись по сторонам.

Наташа взвизгнула щекотливо и схватила его за рукав. Они стали медленно продвигаться среди толпы, становившейся все реже и реже. В конце, где открывалось свободное пространство торцов, стояло двое одетых в кожаные куртки людей, один из них громко убеждал:

— Товарищи, осадите назад. Назад!.. Говорят вам, здесь стрельба. Хотите, чтоб в вас попало? Чудное дело: мешаетесь зря.. Ну, что смотреть? Не видели, как людей убивают?..

Но публика, успокоенная тишиной, не верила и постепенно оттесняла патруль в сторону Скобелевской площади.

Вдруг сверху грохнул выстрел. Патруль моментально исчез, и публика шарахнулась. Сбоку из переулка лопнуло еще два выстрела. Толпа с воем отхлынула к Страстной. Давя друг друга, бежали с выкаченными глазами еще за минуту до того спокойные люди.

Дима сразу потерял Наташу и Грохотова. Напрягая все мускулы тела, он остановился, прижавшись к стене углового дома. Улица быстро опустела, и он был уже на виду с двумя-тремя растерявшимися, оставшими зеваками. Со стороны Страстной застучал пулемет, она также быстро опустела, оставив лишь точки каких-то людей, западавших за тумбы и фонарные столбы. Сквозь грохот выстрелов вдоль по улице протянулось пение и свисты, как будто серпантинные ленты, свистя, разворачивались вместе с полетом пуль.

— Уходи отсюда! — крикнул, перебегая вдоль по стенке из подъезда в подъезд, какой-то солдат.

Дима ткнулся вслед за ним, но двери были уже наглухо заперты. Он остановился, переводя дух, собирая силы для того, чтобы перебежать за угол в пе-

реулок. Что важнее всего казалось Диме, — это не слышать грома выстрелов, тогда, казалось, не попадет. Он бросился, очертя голову, и невредимый проскочил в Леонтьевский переулок. Здесь, осмотревшись, прижимая руку к вздымавшейся груди, он двинулся осторожно, врастая во все углубления стен, попадавшие по пути.

Пройдя так три-четыре дома, остановился Дима в сравнительно глубокой впадине ворот, собираясь отсюда двинуться уже в открытую по тротуару, как вдруг переулок сразу ожил перестрелкой. Кто и откуда стрелял, Дима не мог сообразить. Он слышал выстрелы с разных сторон, звон разбитых стекол и, прижавшись в угол, не находил в себе силы высунуть голову.

Внезапно, протоптав тяжелыми подошвами, в ворота влетел портупей-юнкер с винтовкой, а вслед за ним — полковник с наганом в руке и биноклем, висящим на ремне, перекинутом через шею. Второй юнкер, пробитый пулей, сразмаху упал на тротуар, не добежав. Ноги его мерно колотили камень, руки трепетали, и он перевернулся навзничь, стихнул, открыв залитое кровью горло.

— Ты что здесь делаешь? — строго крикнул полковник, но, поняв все по виду Димы, не ожидая ответа, отвернулся и выглянул наружу. Сразу грохнули выстрелы, и отбитая штукатурка брызнула о листовое железо ворот.

— Прохвосты! — отшатнулся полковник.

Дима разглядывал его сизый затылок, поросший короткими, с сильной проседью, волосами. Полковник повернулся лицом, худощавым, небритым уже несколько дней, усталым, но молодо выглядевшим под румянцем мороза.

Затем взгляд Димы отяжелел и склонился книзу. Там, на тротуаре, рядом с убитым лежал предмет, привлекавший его внимание, — винтовка. Он отводил гла-

за, но они упорно возвращались к этому стройному телу поблескивавшего оружия. В его очертаниях не чувствовал Дима ни тяжести, ни существа свойств, а лишь угадывал таинственные силы, дающие вооруженному человеку осуществление огромной власти над жизнью другого. Соблазн породниться с ними овладевал им безраздельно; он чувствовал себя остро, как никогда, судьей людских дел, вершителем судеб этого куска жизни, сгустившегося в уличном бою на Леонтьевском. И в эти секунды, когда жизнь самого Дима получала последние ускорения, все разворачивалось и росло так быстро, что каждый следующий миг Дима становился новым человеком, совершенно отличным от прежнего.

— Дайте винтовку мне, — вдруг попросил он, наполнившись удивительной решимостью.

— Что? — не расслышал полковник.

— Дайте винтовку мне и скажите куда стрелять, — крикнул Дима с нарастающей холодной бодростью.

Полковник испытующе взглянул на него, на дорожную шубу, на котиковую шапку.

— Пожалуй... Дорога каждая помощь... И Господь вас храни!..

Быстрым движением он подтянул откатившуюся по тротуару винтовку убитого. На рукаве протянутой руки полковника виднелись четыре нашитых полоски галуна — знаки ранений и контузий.

— Цельтесь по окнам серого дома на той стороне, они там. Вы штатский?.. Заряжать умеете?

— Умею, — отрывисто сказал Дима, схватив винтовку.

Он выдвинулся слегка и, увидев в окне второго этажа человека в папахе и бекеше, вложил приклад в плечо. Человек, высунувшись из окна, целился маузером в сторону. Дима спустил курок, и маузер тут же, закачавшись, упал, а человек свесился из подоконника вниз головой и руками, как будто ему подавали

что-то снизу, и он, протянув руки, хотел достать и поднять к себе.

— Молодцом! — крикнул полковник. — Я думал — вы совсем шляпа.

Собственный выстрел и оглушил Диму и отдал сильно в плечо. Дима отшатнулся, ошеломленный выстрелом, результатом его и терпкой похвалой полковника.

«О, смелый аргонавт!..» — вспомнил он с ужасной душевной болью.

Но винтовку крепко держал в руках и ни за что на свете не отдал бы ее...

Вдруг Диме захотелось чихнуть. По старой привычке он поднял руку и сильно нажал верхнюю губу — по правилам бой-скаутов... Действительно, желание прошло, Дима не чихнул.

Прижавшись к стене, он мучительно резко переживал сразу и одиночество свое, и отголосок огромного сострадания к затерявшейся в толпе Наташе, и познанную в этом сухом прыжке винтовки, вложенной в плечо, технику уничтожения...

Между тем, кругом продолжали беспорядочно и настойчиво хлопать выстрелы. К глазам Димы тянулись лучи от всех пьен, от всех домов, равно ценные и зримые сразу. Так краем глаза заметил он на невысокой крыше кошачьими движениями пробегавшую фигуру солдата с красной повязкой на рукаве, но продолжал, несмотря ни на что, в отдельности как-то созерцать всю совокупность того, что было доступно наблюдению, не переставая в то же время следить за фигурой. Винтовка Димы была пуста, и он дрожащей рукой вложил новую обойму, — пули показались ему черными... Когда же солдат припал к трубе, Дима опять поднял винтовку, взгляд его вдруг заострился на куске серого сукна, видного из-за кирпича, он измерил положение взглядом игрока, — точнее этого взгляда нет ничего в жизни, — и подвел мушку. Сол-

нечный отблеск играл на ней, она, поднимаясь, должна была вот-вот заслонить серое пятно, но в какой-то, ничем, кроме собственного чувства, неуказанный миг Дима спустил курок — солдат развернулся во весь рост и упал на крыше за трубой.

— Ааа... — завыл потихоньку Дима, осматриваясь.

Теперь только для него стало ясным все, что он сделает сегодня. Он улыбнулся, сначала искаженно, потом в движении своих губ почувствовал что-то напоминавшее ему Наташу, почувствовал, что улыбка его проста и счастлива, как у Наташи...

Тем временем, сделав перебежку, в ворота с новым грохотом ворвались юнкера и поручик с забинтованной головой.

— Двое вперед, за мной! — крикнул одушевленно полковник, взмахнув наганом. — Остальные прикрывайте! Чаше, чаще стреляйте, господа, надо показать, что нас здесь много... За мной!

Юнкера, бросившись на землю, стреляли лежа. Дима, припав на колено, выстрелил по оконным стеклам. Полковник бросился вперед.

Дима проследил его путь до следующих ворот и, когда он оглянулся, готовый скрыться, Дима, рванув винтовку, выстрелил в него навскидку, как бьют птицу в лет. Затем, не чувствуя себя, стремясь безвольно и бездумно вперед, он подбежал к нему увидеть дело рук своих.

Страшным, внезапно до смерти утомившимся взглядом смотрел на него с земли лежавший полковник, как бы не узнавая. Дима видел, как он медленно целится в него наганом, но не остановился, с расширенными зрачками подходя и вглядываясь в его лицо...

Полковник был строг и честен. Он никогда не играл на мелок, возвращая проигрыш тут же полностью.

Выстрела Дима не слышал. Только резкая судорога пронизала его затылок. Не дойдя до полковника, он повернул, описал круг, еще полкруга, завертелся волчком и, закатив зрачки, упал.

(«Новый мир», кн. 2, 1929 г.)